

МАКСИМОВИЧ ЖЕЛЬКО

АИ, СССР КОЗЛОВА 3



РАСЧЁТ СЕВЕРСКОГО
14.10.1964

ВЕРОЯТНОСТЬ РАСПАДА СССР
ПРИ СЦЕНАРИИ
"БРЕЖНЕВ-ЗАСТОЙ"

63%

ВЕРОЯТНОСТЬ ВЫЖИВАНИЯ,
ЕСЛИ КОЗЛОВ ЗАГОВОРИТ ПЕРВЫМ

31%

РЕШЕНИЕ ЗА ТОБОЙ

Желько Максимович АИ, СССР Козлова 3

<https://litres.ru/74624588>

SelfPub; 2026

Аннотация

АИ, Козлов 3 — альтернативно-исторический роман о том, что случилось бы, если бы 14 октября 1964 года на заседании Президиума ЦК первым выступил не Суслов, а Фрол Романович Козлов — инженер по образованию, второй человек в партии, технократ в мире идеологов.

Сюжет. Октябрь 1964-го. Заговор против Хрущёва уже сложился. Но в ночь перед решающим заседанием Козлов получает записку от таинственного геостратега Северского — человека, которого официально не существует, но чьи расчёты определяют судьбу империи. Вероятность распада СССР при сценарии «Брежнев-застой» — 63%. Вероятность выживания, если Козлов заговорит первым — 31%. Козлов делает выбор — и реальность раскалывается.

Желько Максимович АИ, СССР Козлова 3

Глава 1. Точка бифуркации: Ночь отставки

24 октября 1964 года, 02:47. Кремль, кабинет № 18. Уровень: 5-й этаж власти. Горизонт планирования: 50 лет. Статус: точка бифуркации активна.

1. Капли на стекле

Дождь шёл третий час. Фрол Романович Козлов стоял у высокого окна и смотрел, как капли разбиваются о брусчатку Ивановской площади — каждая вспышка, микроскопический взрыв, крошечная вселенная, исчезающая в момент удара. Лампы он не включил. Электрический свет казался ему формой лжи, а ложь в эту ночь была повсюду, как запах мокрой шерсти от его промокшего плаща, который он так и не снял.

Плащ висел на плечах тяжёлой, влажной тушей, и Козлов чувствовал, как вода медленно просачивается сквозь ткань кителя — холодная московская вода, пахнувшая октябрём, прелыми листьями Александровского сада, бензиновой га-

рю правительственных ЗИЛов, которые даже в три часа ночи стояли у подъезда с прогретыми двигателями, готовые везти его куда угодно — или никуда.

Он прислушался к себе. Боль в пояснице пульсировала размеренно, почти успокаивающе — как метроном, как ход часов на каминной полке, как капли дождя, отсчитывающие секунды до рассвета. Врачи из Четвёртого управления говорили о камнях в почках, о необходимости санаторного режима, о квотах на барокамеру и импортный преднизолон. Они лгали ему, как лгали всем на этом этаже. Дело было не в почках — он знал это так же твёрдо, как знал устройство прокатного стана, как знал наизусть устав партии, как знал, что каждый из сидящих в этом здании людей уже выбрал сторону.

Его убивала сама архитектура власти.

Пять этажей — так называл это Северский. Пять этажей советского дома, и на каждом своя атмосфера, своё давление, свой воздух. На пятом дышали разреженным кислородом высшей политики — кислородом, в котором горело всё: амбиции, воспоминания, почки, сердца. К пятидесяти шести годам у всех, кто поднимался на пятый этаж, отказывало что-нибудь жизненно важное. У Фрола Романовича отказывали почки. У Брежнева — память, хотя этого ещё никто не

замечал. У Суслова — сама способность к радости. У Шелепина отказывало чувство меры, у Семичастного — чувство страха, у Подгорного — дар речи, когда он волновался.

Каждый этаж дышал собственным воздухом, и воздух этот был отравлен.

Козлов отошёл от окна. Плащ он всё-таки снял — бросил на стул у двери, туда, где обычно сидел порученец с блокнотом, куда посетители складывали портфели, ожидая аудиенции. Мокрое пятно на спинке стула расплзлось, как карта империи, которую ещё не начертили.

2. Анатомия папки

На столе лежала тонкая папка из коричневого картона — такие использовали для документов, не подлежащих регистрации в общем делопроизводстве. Никаких пометок на обложке, ни единой буквы. Только на внутренней стороне, там, где сгиб, микроскопическая цифра «18» — номер кабинета. Если бы папку вынесли, никто не смог бы определить, откуда она.

Внутри — семь страниц машинописного текста. Шрифт «Москва», двенадцатый кегль, одинарный интервал, без подписи. Только три буквы в конце последней страницы:

«А.К.С.» — Алексей Кириллович Северский, геостратег пятого этажа, человек, которого официально не существовало.

Козлов знал текст наизусть. За три дня он перечитал эти страницы сорок семь раз. Сорок семь — он считал, потому что в жизни Фрола Романовича не было ничего, что не подавалось бы счёту. Тонны стали, километры рельсов, проценты роста, голоса в Президиуме, пульс утром и вечером. Всё имело число.

Число Северского — шестьдесят три процента.

На полях машинописи геостратег оставил свои примечания — бисерный почерк, почти микроскопический, чернилами «Радуга-2», синими, переходящими в фиолетовый на сгибах страницы. Почерк человека, привыкшего писать то, что не должен читать никто, кроме адресата. Почерк призрака.

Текст гласил:

«Если Хрущёв будет смещён 14 октября 1964 года по сценарию, согласованному 12 октября на встрече в Завидово, партия консолидируется вокруг триумvirата: Брежнев—Косыгин—Подгорный. Сценарий предсказуем во всех ключевых точках.

К 1968 году — подавление реформаторского крыла. К 1970 — отказ от косыгинской реформы. К 1975 — кадровая стагнация в Политбюро, средний возраст членов превысит шестьдесят два года. К 1980 году — полный застой, идеологическая эрозия, рост теневой экономики в южных республиках. К апрелю 1985 — Перестройка как попытка догнать уходящий поезд. К августу 1991 — вероятность конституционного распада государства превышает семьдесят процентов.

Но если 14 октября на заседании Президиума первым выступит не Суслов, а Козлов — дерево вариантов разветвляется. Возникают как минимум четыре альтернативные макроветви. Три из них ведут к консолидации иного типа с горизонтом устойчивости не менее сорока лет. Одна — к ядерной эскалации в Центральной Европе. Вероятности: 62, 17, 12 и 9 процентов соответственно.

Рекомендация: обеспечить выступление Козлова первым номером повестки. Время выступления: не позднее 10:05 утра.»

Козлов закрыл глаза — и увидел карты Северского: пасьянс, разложенный на журнальном столике санатория «Сосны», три дня назад, под шум дождя, который шёл и там, и

здесь, словно дождь был не метеорологическим явлением, а функцией времени, его несущей частотой.

3. Пасьянс геостратега

Три дня назад. Санаторий «Сосны», 17:43.

Комната номер сорок четыре. Ведомственный санаторий Совета Министров, но построенный так, словно архитектор ожидал ядерной войны: стены толщиной в метр, окна с тройным остеклением, подвал на сорок человек. Строили при Бери — и, как всё, построенное при Бери, пережило самого Берию.

На двери — табличка «Трофимов П.С., пенсионер». Настоящее имя — Северский Алексей Кириллович, 1903 года рождения, беспартийный, геостратег пятого этажа. Должность не предусмотрена никаким штатным расписанием. Зарплата начислялась через закрытую статью бюджета Комитета государственной безопасности, но сам Северский никогда не числился в кадрах КГБ. Он был — исключение. Аномалия. Человек, возникший в системе как сбой, но сбой, без которого система переставала работать.

Козлов помнил, как пахло в комнате. Сосновые дрова в камине (настоящие, не декоративные; Северский добился

разрешения на открытый огонь, потому что огонь, по его словам, «структурирует мышление»). Книги на стеллажах — не собрания сочинений классиков марксизма-ленинизма, а математические монографии: Колмогоров, фон Нейман, Ляпунов. На стене — карта мира 1945 года, ещё с колониальными владениями, с Британской Индией, с Французским Индокитаем, с германскими границами до Потсдама. Северский верил, что работа с устаревшими картами развивает способность видеть альтернативные реальности.

Геостратег сидел в кресле у камина и раскладывал пасьянс. Не «Косынку», не «Паука» — собственную систему, которую он называл «Деревом вариантов». Пять колод, сто сорок четыре карты. Каждая карта — государство, политическая сила, историческая тенденция. Туз пик — снятие первого секретаря. Дама червей — народная поддержка. Король треф — армия. Валет бубей — директорат заводов, третий этаж.

Карты ложились на стол с сухим треском, и каждый треск отдавался у Козлова в пояснице.

«Вы один, Фрол Романович», — сказал Северский, не поднимая глаз. Голос у него был негромкий, без интонаций — голос человека, который привык, что его выводы принимают или отвергают, но никогда не оспаривают.

Козлов сел в кресло напротив. Молчал. Он знал: Северский говорит только тогда, когда готов сказать всё.

«Сулов вас боится. Боится не идеологически — идеологически вы для него свой; он боится того, что вы непредсказуемы. Сулов — человек прямой линии: от тезиса к выводу, от решения к исполнению. А вы — человек цикла. Вы возвращаетесь к вопросу. Вы пересматриваете. Для Сулова это непростительная форма слабости, хотя на самом деле это единственная форма силы, которая работает в точках бифуркации.»

Северский перевернул карту. Десятка червей.

«Шелепин видит в вас конкурента. Он молод, ему сорок шесть, он возглавляет Комитет партийно-государственного контроля, он уже мысленно занял ваш кабинет, он расставил там свою мебель, он повесил там свой портрет Дзержинского. Он придёт на Президиум с готовым списком обвинений против Хрущёва — и против вас. Комсомольский бог, Фрол Романович, опаснее чекистского бога, потому что комсомольский бог верит. А верующий человек в политике способен на что угодно.»

Ещё карта. Восьмёрка пик.

«Семичастный держит компромат на всех. Включая вас. Он знает о вашем разговоре с Кириленко в августе. Он знает о записке, которую вы направили Хрущёву в сентябре, — той, где вы предлагали ограничить полномочия КГБ. Он знает о вашей жене, о её дневнике, о её звонках сестре в Ленинград. Семичастный — это четвёртый этаж, Фрол Романович. Четвёртый этаж ничего не решает, но четвёртый этаж всё записывает. А записанное слово весит больше сказанного.»

Три карты подряд — быстро, одна за другой. Семёрка треф. Шестёрка бубей. Пятёрка пик.

«Третий этаж — директорат заводов — ждёт. Директора не любят Хрущёва за совнархозы, за постоянную реорганизацию, за то, что он заставил их отчитываться перед региональными советами, а не перед Москвой. Но директора не любят и вас — вы для них слишком умны. Ум в третьем этаже — это подозрительно. Директорат любит Брежнева, потому что Брежнев говорит на их языке: план, вал, проценты, премиальные, выпелы. Третий этаж примет того, кто победит. Третий этаж — это всегда большинство, а большинство никогда не ошибается, потому что большинство просто переписывает историю задним числом.»

Две карты. Туз бубей. Король пик.

«Второй этаж — аппарат — уже пишет присяги Брежневу. Я видел черновики, они циркулируют с позавчерашнего дня. Ничего особенного: «дорогой Леонид Ильич, выражаем полную поддержку», стандартный набор, но под этими бумагами уже стоят подписи заведующих отделами ЦК. Аппарат всегда знает результат до того, как результат объявлен. Аппарат — это память системы, а память системы всегда консервативна.»

Северский перевернул последнюю карту. Туз пик.

Наступила тишина — такая глубокая, что Козлов услышал, как потрескивают дрова в камине, как ветер шумит в соснах за окном, как где-то в коридоре санатория медсестра катит тележку с лекарствами. Мир продолжал жить своей обычной жизнью, не подозревая, что в комнате номер сорок четыре решается его судьба на ближайшие полвека.

«Я не предлагаю, Фрол Романович. — Северский наконец поднял глаза. Они были серые, очень светлые, почти бесцветные — глаза человека, который смотрел на карты так долго, что уже не различал цветов. — Я описываю. У вас есть четырнадцать часов. Четырнадцать часов до заседания. Завтра Президиум. Повестка — вопрос о товарище Хрущёве. Первым выступит Суслов, если вы ему позволите. Суслов

зачитает обвинительное заключение — двадцать два пункта, от развала сельского хозяйства до Карибского кризиса. Потом выступит Шелепин — добавит компромат. Потом Брежнев — призовёт к единству. Потом проголосуют. Двадцать один голос «за», ноль «против». К семи вечера Хрущёв будет пенсионером союзного значения. Вы — в числе подписавших. Через два месяца вас отправят на пенсию по состоянию здоровья, и вы умрёте в январе шестьдесят пятого — почки, сердце, общее истощение. Это ветвь номер один. Вероятность — шестьдесят три процента.»

Козлов молчал. Боль в пояснице стала острее — словно тело уже знало приговор.

«Но, если вы выступите первым, — продолжал Северский, — сценарий меняется. Вы берёте инициативу. Вы не обвиняете Хрущёва — вы предлагаете программу. Вы говорите не о прошлом, а о будущем. Вы произносите слово «система» — и объясняете, что дело не в Хрущёве, а в принципах управления, которые нужно менять. Вы предлагаете созвать внеочередной съезд — не для смещения, а для выработки нового курса. И тогда Суслов оказывается в положении догоняющего. Шелепин — в положении интригана. Брежнев — в положении выжидающего. А вы — в положении лидера.»

«Сколько?» — спросил Козлов. Голос его прозвучал глухо, как сквозь подушку.

«Что — сколько?»

«Сколько процентов на эту ветвь?»

Северский посмотрел на разложенные карты — долго, как смотрят на сложный чертёж, где линии пересекаются под немыслимыми углами.

«Тридцать один процент. Плюс-минус четыре. Это очень много, Фрол Романович. В точках бифуркации даже два процента — это шанс, за который империи платят миллионами жизней. А у вас тридцать один.»

«А остальные шесть?»

«Остальные шесть процентов — это чёрные лебеди. Вмешательство армии. Инсульт у одного из участников заседания. Звонок из Вашингтона. Пожар в здании ЦК. Покушение. Случайность, которую невозможно просчитать. Для случайностей я держу отдельную колоду.» Северский кивнул на маленькую коробочку из карельской берёзы, стоявшую на каминной полке. «Но случайности — это не наш предмет, Фрол Романович. Наш предмет — выбор. Выбор, который

вы сделаете завтра утром.»

Козлов встал. Плащ его — тот самый, который потом, через три дня, будет пахнуть мокрой шерстью в кремлёвском кабинете, — висел на вешалке у двери.

«Это не политика», — сказал он скорее себе, чем Северскому.

«Нет, — согласился геостратег, собирая карты. — Это физика. Социальная физика. Политика — это когда вы уговариваете людей. Физика — это когда вы знаете, куда упадёт камень, и не пытаетесь его уговорить упасть в другое место. Завтра утром камень полетит. Вы можете стоять на его пути, можете отойти в сторону, можете попытаться изменить угол падения. Но вы не можете сделать вид, что камня не существует.»

Он сложил колоду, постучал ею по столу, выравнивая.

«Идите, Фрол Романович. Вам нужно выспаться. Хотя бы попытаться. Завтра в десять ноль-ноль вы должны быть в зале Президиума. В десять ноль-пять вы должны говорить. Если в десять ноль-шесть вы ещё не произнесли первое слово — всё кончено.»

4. Ночная география

24 октября 1964 года, 03:12. Кабинет № 18.

Козлов открыл глаза. Папка лежала перед ним — та же, что и вчера, что и позавчера. Семь страниц, сорок семь прочтений. Он знал текст наизусть, но продолжал перечитывать — не ради информации, а ради ритма. Северский писал с ритмом, который успокаивал: короткие предложения, точные цифры, отсутствие риторики. Словно читаешь не политический прогноз, а техническую документацию к реальности.

Он подошёл к столу, включил лампу — маленькую, с зелёным абажуром, из библиотеки Ленина, подарок Кириленко. Круг света упал на папку, и Козлов вдруг увидел то, чего не замечал раньше: на третьей странице, в самом низу, крошечная приписка Северского:

«P.S. Если вы всё ещё читаете это в три часа ночи — вы уже приняли решение. Осталось его осознать.»

Фрол Романович усмехнулся. Старый лис. Он всегда знал на шаг вперёд — не потому, что видел будущее, а потому, что понимал людей. Понимал, что человек, способный изменить ход истории, — это человек, который не спит в три часа

ночи, перечитывая аналитические записки, вместо того чтобы принимать снотворное, прописанное врачами Четвёртого управления.

Он отодвинул папку, достал из ящика стола чистый лист бумаги и авторучку — ту самую, которой подписывал постановления Совета Министров. Золотое перо, подарок космонавтов после полёта Титова. Символ эпохи, которая уходила, даже не начавшись.

Он начал писать — не тезисы выступления, не план действий, а нечто другое. Письмо. Кому — он ещё не знал. Может быть, жене. Может быть, истории. Может быть, самому себе — тому Козлову, который через двадцать лет будет вспоминать эту ночь и спрашивать: правильно ли я поступил?

«Дорогая Ольга...» — написал он и остановился.

Ольга была здесь ни при чём. Ольга ждала его дома, в квартире на улице Грановского, и к трём часам ночи уже, наверное, приняла снотворное, то самое, которое он выбросил в утилизатор в приёмной. Она не знала ничего. Она знала только, что муж задерживается на работе — как задерживался каждую ночь последние двенадцать лет. Она привыкла. Все жёны на пятом этаже привыкли — к ночным звон-

кам, к долгим командировкам, к необъяснимым перепадам настроения, к тому, что мужья умирали рано и не от тех болезней, которые писали в заключениях.

Он зачеркнул «Ольга» и написал:

«Тому, кто будет читать это через пятьдесят лет».

И остановился снова. Пятьдесят лет. Северский давал его ветви от сорока до пятидесяти лет устойчивости. Если он выступит завтра — если скажет нужные слова в нужном порядке — то где-то в 2014-м кто-то, возможно, прочтёт эти строки. Или не прочтёт. Или прочтёт, но не поймёт. Или поймёт, но уже ничего нельзя будет изменить.

Проблема была не в том, чтобы изменить историю. Проблема была в том, что история не хотела меняться. У неё была инерция. Огромная масса прошлого — миллионы решений, принятых до него, миллионы судеб, сплетённых в тугой узел, — тянула в единственную колею. Вырваться из колеи означало разорвать сам узел. А это значило — боль. Много боли. Его собственной, тех, кто пойдёт за ним, тех, кто пойдёт против, и тех, кто просто окажется на пути.

Козлов отложил ручку. Письма не будет. Письма пишут те, кто сомневается. А он больше не сомневался.

5. Анатомия этажей

24 октября 1964 года, 03:47. Кабинет № 18.

Он встал и подошёл к книжному шкафу — массивному, дубовому, дореволюционному, оставшемуся здесь ещё от царских чиновников. За книгами, за подписными изданиями Ленина, которых никто не открывал, стоял графин с водой и стакан. Он налил воды, выпил. Вода была тёплая, с металлическим привкусом — кремлёвский водопровод не меняли с тридцатых годов.

Вода. Кровь. Электричество. Информация. Четыре жидкости, текущие по трубам любого здания власти. Перекрой одну — и система начинает задыхаться. Северский учил его этому пятнадцать лет назад, когда Козлов ещё был первым секретарём Ленинградского обкома, а Северский — безымянным консультантом, приезжавшим раз в месяц с папкой, полной графиков и схем.

«Власть — это не пирамида, Фрол Романович, — говорил Северский тогда, в пятьдесят третьем, сразу после смерти Сталина, когда все ждали, что будет. — Власть — это дом. Пятиэтажный дом, если говорить о Советском Союзе. На каждом этаже — свои законы физики.»

Первый этаж — народ. Сто двадцать миллионов человек. Они не принимают решений, но создают гравитацию. Достаточно сильную, чтобы удерживать всю конструкцию на земле, — и достаточно инертную, чтобы конструкция не разваливалась от каждого порыва ветра. Первый этаж работает на тепле: тепло жилья, тепло еды, тепло надежды. Отними тепло — и гравитация превратится в центробежную силу.

Второй этаж — аппарат. Три миллиона чиновников всех уровней, от сельсовета до ЦК. Они перерабатывают информацию. Они пишут бумаги. Они — нервная система государства, и, как всякая нервная система, они инерционны. Сигнал от пятого этажа до первого идёт три месяца. Обратный сигнал — три года. Аппарат не предаёт и не поддерживает — он адаптируется. Он выживает при любой власти, потому что власть без аппарата — это голос без микрофона.

Третий этаж — директорат. Четыреста тысяч директоров заводов, фабрик, совхозов, рудников, шахт, электростанций, пароходств. Они управляют материей. Они превращают уголь в тепло, нефть в бензин, руду в сталь, сталь в танки, танки в страх противника. Они — мышцы государства. Мышцы не думают, но, если мышцы откажут — не поможет никакой мозг.

Четвёртый этаж — Комитет государственной безопасности, армия, МВД. Силовые структуры. Два миллиона человек с оружием и доступом к информации. Они — иммунная система государства. Они защищают организм от внешних угроз и подавляют внутренние мутации. Проблема иммунной системы в том, что она иногда принимает сам организм за угрозу. Тогда начинается аутоиммунная реакция. Тогда кровь сворачивается в жилах.

Пятый этаж — Политбюро, Секретариат, Президиум. Двадцать пять человек. Они принимают решения. Они — мозг. Мозг весит два процента от массы тела, но потребляет двадцать процентов кислорода. Пятый этаж потребляет восемьдесят процентов информации, циркулирующей в государстве, и девяносто процентов страха, циркулирующего в самом себе.

«И когда на пятом этаже начинается драка, — сказал тогда Северский, — весь дом трясётся. Трещины идут по стенам. Вода замерзает в трубах. Электричество гаснет. И тогда жильцы первого этажа — те, кто создаёт гравитацию, — начинают задавать вопросы. А это опаснее всего.»

Козлов допил воду и поставил стакан на место.

Завтра на пятом этаже начнётся драка.

6. Карта выбора

24 октября 1964 года, 04:02. Кабинет № 18.

Он сел за стол, взял лист бумаги — тот самый, с зачёркнутым «Ольга» — и начал чертить.

Это была привычка, оставшаяся с ленинградских времён. Когда Козлов не мог принять решение, он рисовал схему. Не график, не таблицу — именно схему, где квадраты обозначали людей, стрелки — влияния, пунктиры — возможные, но не реализованные связи. Он называл это «социальной топологией». Северский, увидев однажды такую схему, сказал: «Вы интуитивно делаете то, на что у меня уходят месяцы расчётов».

В центре листа — большой квадрат. «Хрущёв». От него — стрелки во все стороны, потому что Хрущёв влиял на всё, но уже не контролировал ничего. Он был как солнце на закате — всё ещё яркое, но уже не греющее.

Слева — квадрат поменьше. «Суслов». Главный идеолог. Человек, который верил в догматы с той же искренностью, с какой Козлов верил в производственные показатели. Суслов не хотел власти для себя — он хотел правильной власти, вла-

сти, соответствующей теории. Он был опасен именно этим: он не брал взятки, не имел любовниц, не коллекционировал дачи. Его нельзя было купить. Его можно было только убедить — но для этого нужно было говорить на его языке, языке цитат и постановлений.

Справа — «Брежнев». Квадрат со скруглёнными углами, потому что Брежнев ни с кем не воевал, ни с кем не ссорился, всем улыбался, всем обещал, со всеми дружил. Брежнев был как вода — он принимал форму сосуда, в который его наливали. Сейчас сосудом был заговор против Хрущёва, и Брежнев принял эту форму, но завтра сосуд мог измениться, и Брежнев изменился бы вместе с ним. Опасность Брежнева была в том, что он не был опасен. Он был удобен. А удобство в политике убивает вернее яда.

Ниже — «Шелепин». Молодой, энергичный, злой. Комсомольский вождь, привыкший к тому, что его приказы исполняются. Шелепин верил в порядок. В железный порядок. В порядок, при котором каждый знает своё место и не задаёт вопросов. Если Шелепин придёт к власти, Советский Союз превратится в гигантский комсомольский отряд — с маршами, речёвками и расстрелами за опоздание на линейку.

Ещё ниже — «Косыгин». Технократ. Экономист. Человек, который понимал, что советская экономика больна, и

знал рецепт лечения: хозрасчёт, рентабельность, свобода предприятий, прибыль как критерий эффективности. Косыгинская реформа — слово, которое ещё не прозвучало, но уже висело в воздухе. Косыгин не боролся за власть. Он ждал, когда власть сама придёт к нему, — и в этом была его сила и его слабость.

В самом низу — «Семичастный». Глава КГБ. Хозяин компрмата. Человек, который знал всё обо всех и не рассказывал ничего никому, кроме тех, кто мог ему что-то дать взамен. Семичастный не был игроком — он был банком, хранилищем ставок. Он откроет сейф тому, кто выиграет.

Козлов посмотрел на схему — и понял, чего не хватает. Его самого.

Он нарисовал ещё один квадрат — в самом верху листа, над всеми. «Козлов Ф.Р.» И провёл от него стрелки ко всем остальным — жирные, уверенные. А потом задумался и провёл ещё одну стрелку — от своего квадрата к краю листа, за пределы схемы. Туда, где не было имён, где были только время и случай.

«За пределы», — прошептал он.

Северский говорил: вы должны выступить первым. Но Се-

верский не говорил главного: что именно сказать. Он дал дерево вариантов — но не дал текста. Текст Козлов должен был написать сам.

И он начал писать.

7. Речь, которая изменит всё

24 октября 1964 года, 04:17. Кабинет № 18.

«Товарищи члены Президиума Центрального Комитета».

Он написал эту фразу и остановился. Нет. Не так.

«Товарищи».

Одно слово. Без указания должностей, без протокольных формул. Просто — товарищи. Это уменьшало дистанцию. Это ставило его не над ними, а рядом с ними. Суслов начнёт с «Уважаемые товарищи члены Президиума», и это сразу создаст барьер, официальность, холод. А Козлов начнёт с «Товарищи» — и это будет первый удар.

Он продолжил писать — быстро, почти не думая, словно слова возникали сами, а он только записывал:

«Заседание, на которое мы сегодня собрались, не является рядовым. Мы все понимаем это, хотя ещё никто не произнёс этого вслух. Вопрос, поставленный в повестку, касается не одного человека и не одной должности. Вопрос касается судьбы страны — того курса, которым мы идём, того будущего, которое мы строим, той цены, которую мы платим за наши ошибки.»

Он остановился. Слишком абстрактно. Северский учил: никаких абстракций. Только цифры. Только факты. Только то, что можно проверить.

Он перечеркнул абзац и начал заново:

«Товарищи. За последние семь лет — с 1957 по 1964 — темпы роста промышленного производства снизились с 10,4 до 7,1 процента в год. Сельскохозяйственное производство дало среднегодовой прирост в 1,8 процента при плановых показателях в 5,2. Освоение целины привело к эрозии восемнадцати миллионов гектаров пахотных земель. Административная реформа 1957 года разделила единую систему управления промышленностью на сто пять экономических районов, что привело к дублированию функций, росту бюрократического аппарата на двести тысяч человек и потере управляемости стратегическими отраслями. Карибский кризис октября 1962 года поставил мир на грань ядерной

войны, и только чудо — я повторяю, товарищи: только чудо — предотвратило катастрофу.»

Факты. Цифры. Даты. Никакой риторики. Пусть Суслов говорит о ревизионизме и культе личности. Пусть Шелепин говорит о моральном облике. Козлов будет говорить о том, что можно измерить.

«Но я собрал вас здесь не для того, чтобы перечислять ошибки. Ошибки очевидны. Я собрал вас здесь для того, чтобы предложить альтернативу. Не смену лиц — систему нельзя вылечить сменой лиц, мы проходили это в пятьдесят третьем и в пятьдесят седьмом. Система возвращается к своему равновесию, кто бы ни стоял у руля. Нам нужна смена принципов. Нам нужна новая модель управления — модель, в которой решения принимаются на основе анализа, а не интуиции; на основе долгосрочного прогноза, а не сиюминутной политической выгоды; на основе открытого обсуждения, а не аппаратной интриги.»

Козлов отложил ручку. Он написал достаточно. Теперь оставалось главное: лечь спать, проснуться в семь, принять душ, позавтракать, надеть свежую рубашку и в девять сорок пять войти в зал Президиума. В десять ноль-ноль начать заседание. В десять ноль-пять попросить слова.

В десять ноль-шесть изменить историю.

8. Видение: ноябрь 1974-го

24 октября 1964 года, 04:31. Кабинет № 18.

Он закрыл глаза — всего на минуту, чтобы дать отдых воспалённым векам, — и вдруг увидел другое время.

Ноябрь 1974 года. Москва. Кремль. Тот же кабинет № 18, но обставленный иначе: современная мебель, финский гарнитур, на стене — большая карта мира с новыми границами, которых Козлов не узнавал. За столом сидел человек — он сам, но на десять лет старше. Глубже морщины, седее виски, тяжелее взгляд. Но жив. Жив, а не мёртв, как предсказывал Северский для ветви номер один.

Он — Козлов-1974 — читал какой-то документ, делал пометки на полях, и почерк у него был тот же, что сейчас, в 1964-м: быстрый, размашистый, с наклоном вправо, с характерной петлёй на букве «д». Почерк человека, который не привык останавливаться.

В кабинет вошёл человек в штатском — но с выправкой военного. Положил на стол папку. Сказал что-то — слов было не разобрать, они тонули в гуле времени, как в шуме до-

жда за окном. Козлов-1974 кивнул, открыл папку, прочитал — и вдруг поднял глаза.

Их взгляды встретились. Козлов-1964 и Козлов-1974 смотрели друг на друга сквозь десять лет — как сквозь толщу воды, как сквозь мутное стекло, как сквозь тот самый дождь, который всё ещё барабанил в окно.

Козлов-1974 улыбнулся. Улыбка была усталая, но спокойная. Так улыбается человек, который знает, что всё сделал правильно, даже если цена оказалась выше, чем он рассчитывал.

А потом видение исчезло — так же внезапно, как появилось. Козлов открыл глаза. Дождь за окном продолжался. Часы на столе показывали 04:32. Он спал меньше минуты.

«Ноябрь семьдесят четвёртого», — прошептал он. — «Значит, десять лет. Десять лет — это много. Это больше, чем у меня было бы в той ветви, где я промолчу.»

Он встал, потянулся. Боль в пояснице никуда не делась, но теперь он воспринимал её иначе — не как предвестник смерти, а как напоминание о том, что он ещё жив. Живые чувствуют боль. Мёртвые не чувствуют ничего.

9. Утренняя развилка

24 октября 1964 года, 06:15. Квартира на улице Грановского.

Он вернулся домой в шестом часу утра. Ольга спала — он слышал её ровное дыхание из спальни. Прошёл на кухню, поставил чайник. Окно кухни выходило во двор, где дворники уже сметали опавшие листья в большие брезентовые кучи. Листья были жёлтые, красные, коричневые — октябрь в Москве всегда был цветным, словно природа пыталась компенсировать цветом то, что отнимала теплом.

Он заварил чай — грузинский, крепкий, без сахара. Сел за кухонный стол. Мысли текли уже не так лихорадочно, как ночью. Усталость брала своё, но это была хорошая усталость — усталость после принятого решения.

Он думал о том, что скажет Суслов, когда он, Козлов, попросит слова первым. Суслов будет удивлён — он ждёт, что первым выступит он сам, как главный идеолог, как хранитель догмы. Суслов подготовил речь — двадцать два пункта обвинений, Северский упоминал их. Речь длинную, обстоятельную, с цитатами из Ленина и Маркса. Но Суслов не ожидает, что кто-то перехватит инициативу. Для него политика — это ритуал, а в ритуале важен порядок. Козлов сломает

порядок — и ритуал превратится в импровизацию. А в импровизации Суслов слаб.

Он думал о Брежневe. Брежнев будет ждать. Он всегда ждёт. Он войдёт в зал, улыбнётся всем, сядет на своё место, положит руки на стол — свои большие, крестьянские руки с толстыми пальцами, — и будет слушать. Если Козлов выступит сильно — Брежнев поддержит. Если слабо — Брежнев промолчит. Брежнев — флюгер, но флюгер не виноват в том, что показывает направление ветра. Он просто выполняет свою функцию.

Он думал о Шелепине. Шелепин будет в ярости — но ярость Шелепина, как и всё в нём, будет холодной, расчётливой, комсомольской. Он не станет возражать сразу, он выждет, он даст Козлову выговориться — и потом нанесёт удар. Но к тому моменту будет уже поздно. Слово, сказанное первым, обладает инерцией. Оно катится по столу, как бильярдный шар, и сбивает все остальные шары. Кто говорит первым — тот задаёт траекторию.

Он думал о Косыгине. Косыгин будет молча считать в уме. У него привычка — во время заседаний он решает экономические задачи, чтобы не терять времени. Если Козлов произнесёт слово «рентабельность» — Косыгин поднимет голову. Если произнесёт «хозрасчёт» — Косыгин улыбнётся. Ко-

сыгин не союзник и не противник. Косыгин — инструмент. Точный, надёжный, бесстрастный. Им нужно уметь пользоваться.

И он думал о Хрущёве. Хрущёв будет сидеть во главе стола — ещё Первый секретарь, ещё Председатель Совета Министров, ещё хозяин державы. Но уже — мишень. Он будет смотреть на выступающих, и его глаза — маленькие, живые, всегда немного удивлённые — будут перебегать с лица на лицо. Он будет искать союзников и не найдёт. Он будет пытаться понять, когда именно всё пошло не так, — и не поймёт. Потому что всё пошло не так не в какой-то момент, а всегда. Система начала отторгать его с первого дня, просто процесс шёл медленно, как развивается болезнь почек — незаметно, пока не станет слишком поздно.

Чай остыл. Козлов допил его залпом, поморщился — холодный чай был горьким, — и пошёл в спальню. Ольга не проснулась. Он лёг рядом, закрыл глаза и провалился в сон — тяжёлый, без сновидений, как в детстве, когда после рабочего дня в колхозе падаешь на сеновал и спишь без задних ног до рассвета.

До рассвета оставалось два часа.

24 октября 1964 года, 09:47. Кремль, зал Президиума.

Зал был уже почти полон. Члены Президиума рассаживались по местам — длинный стол, покрытый зелёным сукном, графины с водой, пепельницы, блокноты, карандаши. Ритуал.

Козлов вошёл одним из последних. На нём был тёмно-синий костюм, белая рубашка, галстук в тонкую полоску — тот самый, который Ольга купила в ГУМе месяц назад. Он выглядел спокойным. Даже слишком спокойным. Семичастный, сидевший в дальнем конце стола, бросил на него быстрый взгляд и что-то записал в своём блокноте — Козлов знал: фиксирует, запоминает, заносит в досье. Пусть. Сегодня всё изменится.

Сулов уже сидел на своём месте — прямая спина, очки в тонкой металлической оправе, перед ним папка с тезисами выступления. Он кивнул Козлову — сухо, формально. Они не были друзьями. Они были коллегами по несчастью, имя которому — власть.

Брежнев вошёл последним — как всегда, с шуткой, с улыбкой, с рукопожатиями. Он обошёл стол, каждому сказал что-то приятное, каждого похлопал по плечу. Политик

до мозга костей. Даже в день переворота он не мог удержаться от того, чтобы не понравиться всем.

Хрущёв занял место во главе стола. Он выглядел уставшим — видно было, что ночь он провёл не лучше Козлова. Он обвёл взглядом собравшихся, и на мгновение их глаза встретились. Козлову показалось, что Хрущёв знает. Может быть, не детали, не сценарий, не проценты Северского, но главное: сегодня его снимут. Сегодня он перестанет быть Первым секретарём. Сегодня закончится эпоха.

Но Хрущёв не подал виду. Он открыл заседание — буднично, словно речь шла об очередном отчёте о надоях молока.

«Товарищи. На повестке дня один вопрос. О текущем моменте и задачах партии. Кто желает выступить?»

И тогда Суслов начал подниматься.

А Козлов — на долю секунды раньше.

11. Точка бифуркации

24 октября 1964 года, 10:04:58. Зал Президиума.

Время замедлилось. Так бывает в моменты, которые потом назовут историческими, — время растягивается, как резина, и каждая секунда вмещает вечность.

Козлов видел, как Суслов приподнимается со стула. Видел, как пальцы Суслова касаются папки с тезисами. Видел, как Брежнев поворачивает голову к Суслову — губы Брежнева уже складываются в одобрительную полуулыбку, он готов слушать, он готов поддержать, он готов принять ту версию реальности, которую предложит главный идеолог.

Козлов видел всё это — и одновременно видел другое.

Он видел ветви дерева, которое нарисовал Северский.

Вот ветвь номер один — та, на которой он промолчит. Суслов выступит, зачитает обвинения, Шелепин добавит компромат, Брежнев призовет к единству. Хрущёва снимут. Козлов подпишет решение. Через два месяца — пенсия по здоровью. Январь шестьдесят пятого — смерть. Страна пойдёт по наклонной: застой, Афганистан, смерть трёх генсеков за три года, Горбачёв, перестройка, августовский путч, Беловежская пуща. Империя, которой он служил всю жизнь, исчезнет с карты.

Вот ветвь номер два — та, на которой он скажет: «Про-

шу слова» первым. Суслов застынет в полупоклоне. Брежнев удивлённо поднимет бровь. Шелепин сожмёт челюсти. Косыгин перестанет считать в уме. Семичастный захлопнет блокнот. Хрущёв вздрогнет.

И Козлов начнёт говорить.

И всё изменится.

24 октября 1964 года, 10:05:00.

«Прошу слова, товарищи».

Голос прозвучал неожиданно громко — или это акустика зала, или это тишина, которая вдруг наступила, сделала каждое слово оглушительным.

Суслов замер. Его рука, уже лежавшая на папке, дрогнула. Он посмотрел на Козлова — в его глазах было не возмущение, нет. Там было нечто другое. Узнавание. Словно он всегда знал, что этот момент наступит, — и вот он наступил.

Брежнев перестал улыбаться.

Козлов поднялся — медленно, давая всем время осознать происходящее. Он обвёл взглядом сидящих за столом —

каждого по очереди, как учил Северский: контакт глазами, индивидуальное обращение, пусть каждый почувствует, что говорят с ним лично.

«Товарищи, — повторил он. — Прежде чем мы перейдём к обсуждению повестки, я хотел бы предложить... иной ракурс. Не обсуждение ошибок отдельного человека — ошибки очевидны и не требуют дополнительных комментариев. А обсуждение системы. Той системы управления, которая привела нас к сегодняшнему дню. Той системы, которую мы должны изменить — не завтра, не через пять лет, а сейчас. Потому что времени у нас меньше, чем кажется.»

Он сделал паузу. В зале было так тихо, что слышно было, как дождь стучит в окна.

«У меня есть конкретные предложения. Я прошу Президиум выслушать их — и принять решение. Не о судьбе одного человека. О судьбе страны.»

Суслов медленно опустился на стул. Папка с тезисами осталась лежать перед ним — закрытая.

Дерево вариантов дрогнуло, и одна из ветвей — та, на которой Советский Союз существовал ещё сорок лет, а Козлов Фрол Романович, пятидесяти шести лет от роду, с большими

почками и волей, закалённой в ленинградских цехах, — ещё десять лет стоял у руля огромной державы, — начала наливаться зелёным соком вероятности, превращаясь из гипотетической в реальную.

Точка бифуркации была пройдена.

Глава 2. Ретроспектива: Инженер власти

Ленинград, 1953 год. Апрель. Завод «Электросила», кабинет главного инженера.

1. Запах

Запах машинного масла въедался в кожу и оставался там навсегда. Фрол Романович Козлов сорок пять лет спустя, уже лёжа в постели с отказавшими почками, в квартире на улице Грановского, под аккомпанемент капельницы и приглушённых голосов врачей Четвёртого управления, будет чувствовать этот запах — резкий, металлический, честный. Запах, который не лжёт.

Ничего честнее машинного масла в его жизни не было. Не было честнее гудения турбин, вибрации пола под ногами, когда ротор набирал обороты, и стрелка тахометра ползла вправо — сначала медленно, потом всё быстрее, пока не за-

мирала на расчётной отметке. Не было честнее чертежей на кульмане — синих линий на белой кальке, размерных стрелок, допусков, записанных его собственной рукой: плюс-минус пять сотых миллиметра, не больше, не меньше. Чертёж либо правилен, либо нет. Турбина либо работает, либо разрушается. В этом была ясность, которой ему будет мучительно не хватать все последующие десятилетия.

Запах. Он возвращался к нему в снах — даже тогда, в шестьдесят четвёртом, в ночь перед Президиумом, когда он задремал в кремлёвском кабинете на пятнадцать минут и увидел себя молодым, стоящим в цехе номер три, на галерее, смотрящим вниз, на огромный ротор, который рабочие опускали на подшипники. Ротор висел на цепях мостового крана — сто двадцать тонн стали, меди, изоляции, человеческого труда и конструкторской мысли. И в этом зрелище было что-то религиозное. Не в партийном, не в марксистском смысле — а в том, древнем, доисторическом, когда люди верили, что в больших предметах живут боги.

Бог турбины был богом вращения. Ему поклонялись оборотами в минуту.

2. Турбина и государство

1930–1953. Хроника превращения.

Он пришёл на завод в тридцатом — молодой инженер из МВТУ, с дипломом в картонной папке, с комсомольским значком на лацкане и верой в то, что электричество изменит мир. Вера была не метафорической — буквальной. Он видел цифры: установленная мощность электростанций Российской империи в 1913 году составляла немногим больше миллиона киловатт. К 1930 году — уже три с половиной. План ГОЭЛРО, который Ленин называл «второй программой партии», требовал турбин. Огромных, мощных, способных крутиться годами без остановки.

«Электросила» строила их.

И Козлов строил «Электросилу».

Не в одиночку, разумеется. Он был одним из сотен инженеров, потом — старшим инженером, потом — начальником цеха, потом — заместителем главного инженера. Каждая ступень была завоёвана не интригами и не звонками в Москву, а работой. Чистой, изнурительной, шестнадцатичасовой работой, от которой к тридцати пяти годам у него начали болеть суставы пальцев — он слишком много писал, слишком много чертил, слишком много держал инструмент.

Турбины «Электросилы» крутились от Кузбасса до Дне-

прогэса, от рижских ТЭЦ до дальневосточных электростанций, названия которых были засекречены, потому что они питали военные объекты. Роторы гудели ровным басом — низким, утробным, проникающим сквозь бетонные стены машинных залов, — и в этом гуле Козлов слышал голос будущего. Не того будущего, о котором кричали с трибун, — светлого коммунистического далека, — а настоящего, физического, состоящего из меди, стали и вращающего момента. Будущего, в котором всё можно измерить, рассчитать и предсказать.

В этом была его вера. И в этом была его ересь.

Он не верил в диалектический материализм как в философскую доктрину — он верил в материализм как в инженерную практику. Материя первична не потому, что так сказал Маркс, а потому, что болт, закрученный с неправильным моментом, срезается при пуске турбины, и это факт, не зависящий от классового сознания.

Он не верил в партийные ритуалы — он участвовал в них, потому что так требовала система, но в глубине души считал собрания потерей времени. Час собрания — это минус три чертежа. Два часа — минус расчёт лопатки. День партийной конференции — минус неделя конструкторской работы.

Он не верил в вождей — он верил в лидеров. Разница была проста: вождь требует поклонения, лидер требует результата. Сталин был вождём. Козлов — ещё не зная этого — готовился стать лидером.

К 1953 году он был главным инженером крупнейшего электротехнического завода страны. Партбилет лежал в левом внутреннем кармане кителя — член ВКП(б) с 1938 года, номер такой-то, вступил по рекомендации директора завода и секретаря райкома. Но правая рука всё ещё помнила, как держать кронциркуль, штангенциркуль, микрометр. Правая рука помнила вес чертёжного рейсфедера и сопротивление пружины в лекальном циркуле. Правая рука была рукой инженера.

Левая рука держала партбилет.

В этом заключалась его сила — и его обречённость. Он был инженером среди политиков, человеком формул в мире, где правили метафоры. Он думал цифрами, когда все вокруг думали лозунгами. Он искал оптимальные решения, когда все вокруг искали виноватых. Он верил в расчёт, когда все вокруг верили в чудо.

И когда грянул март 1953 года, когда умер Сталин и вся страна замерла в ожидании — непонятно чего: то ли облег-

чения, то ли катастрофы, то ли того и другого одновременно, — Козлов сидел в своём кабинете на «Электросиле» и пересчитывал коэффициент полезного действия новой турбины. Он делал это не потому, что был бесчувственным. Он делал это потому, что только в расчётах мог найти опору. Мир политики шатался. Мир формул стоял незыблемо.

3. Звонок

Апрель 1953 года. Завод «Электросила», кабинет главного инженера. 14:22.

В тот день шёл дождь — как и одиннадцать лет спустя, в ночь перед Президиумом. Козлов заметил это совпадение много позже, перебирая в памяти ключевые моменты своей жизни. Дождь сопровождал его в точках бифуркации — словно природа настаивала на определённом фоне для судьбоносных решений.

Он работал над чертежом. Турбина ТВ-2-150 — сто пятьдесят мегаватт, сверхвысокое давление, новая конструкция ротора с воздушным охлаждением. Проблема была в лопатках последней ступени: при расчётных оборотах возникали резонансные колебания, которые могли привести к усталостному разрушению металла. Козлов искал решение третий день. Он перебрал шесть вариантов профиля, отбросил че-

тыре, два оставил для испытаний на моделях. Он был счастлив — в том смысле, в каком счастлив инженер, нащупавший путь к решению задачи.

Вошёл помощник — молодой парень, фамилия выпала из памяти, лицо сохранилось: белое, испуганное, словно он уже знал то, чего Козлов ещё не понимал.

«Фрол Романович, звонок из Москвы. Говорят, срочно.»

Козлов не любил, когда его отрывали от чертежа. Он бросил карандаш — простой, плотницкий, с толстым грифелем, — и взял трубку.

Голос в трубке был сухим, без интонаций, без приветствия, без представления. Так говорили люди, которые не нуждались в представлении, потому что их голос был частью системы, а система не представляется — она просто отдаёт команды.

«Фрол Романович, вас рекомендовали в ЦК. На должность заведующего отделом машиностроения. Поздравляю.»

Гудки.

Он положил трубку и посмотрел на чертёж. Лопатки ро-

тора были рассчитаны им лично: угол атаки — семнадцать градусов, коэффициент трения в паровой среде — ноль целых восемь тысячных, запас прочности по пределу текучести — один и семь десятых. Каждая цифра имела смысл. Каждая цифра была проверена опытом, расчётом и модельными испытаниями. В мире чертежа не было случайностей.

В мире, куда его теперь звали, — были только случайности.

Он закурил — привычка, от которой он откажется только через десять лет, когда врачи Четвёртого управления скажут: «Фрол Романович, почки». Папироса «Беломорканал» — дешёвая, фабричная, пахнувшая не табаком, а какой-то химией. Дым поднялся к потолку, закружился под лампой, растворился в полумраке. Козлов смотрел на дым и думал: политика — это дым. Она закручивается красивыми завитками, а потом исчезает, не оставляя следа. А турбина — турбина остаётся. Она весит сто двадцать тонн. Её нельзя растворить в воздухе.

Но он согласился.

Почему? Это был вопрос, который ему задавали десятилетиями — прямо или косвенно. Почему инженер, специалист, человек дела ушёл в мир, который был полной проти-

воположностью всему, во что он верил? Ответа он не знал и сам. Через много лет, отвечая на этот вопрос — кажется, корреспонденту «Правды», или, может быть, в разговоре с Косыгиным, или в беседе с женой после особо тяжёлого дня, — он скажет: «Я думал, что государством можно управлять как заводом. Что есть чертежи, расчёты, допуски. Что политика — это инженерия большого масштаба.»

Это была правда — но не вся правда. Было и другое: амбиция. Та самая амбиция, которую он сам в себе не признавал, потому что амбиция для инженера была формой брака, отклонением от технических условий. Но она была — горячая, жгучая, не имеющая ничего общего с холодным миром формул. Амбиция построить не турбину — государство. Не цех — страну. Не ротор — историю.

Он не мог признаться в этом даже себе.

4. Анатомия перехода

Май 1953 года. Поезд Ленинград—Москва. Купе первого класса.

Поезд шёл ночью. За окном проплывали тёмные леса, редкие огни полустанков, чёрные силуэты фабричных труб на фоне серого неба. Козлов не спал. Он сидел у окна, смотрел

на проплывающий пейзаж и пытался представить, что ждёт его в Москве.

Он знал Москву — приезжал на совещания в Министерство тяжёлого машиностроения, бывал в Госплане, защищал заявки на металл и оборудование. Но то была Москва техническая, ведомственная, подчинённая логике производственных планов. Теперь ему предстояло войти в Москву политическую — ту, что жила по иным законам, неписаным, невыраженным, передаваемым шёпотом в коридорах и за чаем в буфете ЦК.

Он достал из портфеля блокнот и начал записывать — привычка, которую он сохранит на всю жизнь. Всё, что он знал о политической системе, он знал из книг: Ленин, Маркс, Энгельс, программа партии, устав, решения съездов. Теперь ему предстояло узнать систему изнутри — и он готовился к этому как к новому инженерному проекту.

«Политическая система, — писал он в блокноте, — есть механизм принятия решений. Как всякий механизм, она имеет: (1) источник энергии — классовую борьбу, идеологию, массовую поддержку; (2) передаточный механизм — партийный аппарат, Советы, профсоюзы; (3) исполнительный орган — министерства, ведомства, предприятия; (4) систему обратной связи — отчётность, статистику, жалобы

трудящихся. Задача инженера — обеспечить бесперебойную работу всех четырёх компонентов.»

Он перечитал написанное — и остался доволен. Всё было ясно, логично, поддавалось расчёту. Он ещё не знал, что в реальной политической системе ни один из этих компонентов не работает так, как описано в теории. Источник энергии — не классовая борьба, а борьба личных амбиций. Передаточный механизм — не аппарат, а личные связи. Исполнительный орган — не министерства, а директора, каждый из которых имеет свою вотчину. Обратная связь — не статистика (статистика лжёт), а доносы и слухи.

Он не знал этого. Ему предстояло узнать.

5. Москва. ЦК. Коридоры.

Май 1953 года. Здание ЦК КПСС на Старой площади. День первый.

Коридоры ЦК имели собственный запах. Не машинного масла — это Козлов понял сразу, едва переступив порог. Здесь пахло бумагой, старой бумагой, тоннами бумаги, скопившейся за десятилетия: машинописные страницы, резолюции, протоколы, справки, докладные, особые мнения, приложения, дополнения к приложениям. Бумажный запах

был густым, сладковатым, с примесью типографской краски и столярного клея от переплётков.

Второй запах — одеколон. Все мужчины в этих коридорах пользовались одним и тем же одеколоном — казённым, резким, с нотой лимона. Одеколон был частью униформы, как тёмный костюм, белая рубашка, галстук. Козлов не пользовался одеколоном — ему хватало запаха машинного масла, который ещё не выветрился из его пиджака, — и это сразу выделяло его среди обитателей Старой площади.

Третий запах — страх. Он был едва уловимым, подпороговым, но Козлов, с его инженерной чувствительностью к малым отклонениям, уловил его сразу. Страх имел химическую природу: пот, адреналин, кортизол. В коридорах ЦК боялись все — и те, кто шёл на повышение, и те, кто ждал ареста, и те, кто просто работал здесь достаточно долго, чтобы понимать: безопасных мест в этом здании нет. Даже должность заведующего отделом не гарантировала ничего. Сегодня ты заведешь, завтра ты — враг народа, а послезавтра твоё имя вымарывают из энциклопедий.

Козлов чувствовал этот страх, но не понимал его. Как инженер, он знал: страх — это сигнал. Если механизм вызывает страх у тех, кто с ним работает, — механизм неисправен. Если станок пугает токаря, нужно проверить крепление рез-

ца. Если цех пугает рабочих — неисправна вентиляция или освещение. Если система управления страной пугает тех, кто ею управляет, — система неисправна в самом своём основании.

Он пока не формулировал это так чётко. Но где-то на задворках сознания, в том слое мышления, который ещё не оформился в слова, уже зрело понимание: политика — это не инженерия. Политика — это патология.

6. Северский: первая встреча

Июнь 1953 года. Москва, Старая площадь, кабинет № 412.
19:30.

Он уже месяц работал в ЦК — осваивался, знакомился с людьми, читал бесконечные докладные записки о состоянии машиностроения. Работа оказалась не такой уж сложной: те же цифры, те же планы, только масштаб другой. Не один завод — вся отрасль. Не одна турбина — сотни турбин. Принципиальной разницы он не видел.

В тот вечер он задержался допоздна — читал сводку о выполнении плана по производству паровых котлов за первый квартал. Цифры не сходились. План был выполнен на сто три процента, но при этом три завода из двенадцати отчи-

тались о перевыполнении на двадцать процентов каждый, а остальные девять — о невыполнении. Математически это не складывалось, и Козлов уже начал подозревать приписки, когда дверь открылась без стука.

Вошедший был невысок, сухощав, в очках с толстыми стёклами. На вид — лет пятьдесят, может, больше. Одет неброско: серый костюм, белая рубашка без галстука. Ничего примечательного — кроме глаз. Глаза были очень светлые, почти бесцветные, и смотрели они не на Козлова, а сквозь него, словно оценивали не человека, а некую математическую функцию.

«Вы Козлов?» — спросил вошедший без приветствия.

«Допустим.»

«Меня зовут... впрочем, это неважно. Я читал вашу записку о резонансных колебаниях в паровых турбинах. Семь лет назад, в сорок шестом. Вы прислали её в Госплан, хотя адресовали в Министерство. Ошиблись индексом. Записка попала ко мне.»

Козлов напряг память. Записка 1946 года — да, была такая. Он тогда работал над проблемой резонанса и предлагал создать межведомственную комиссию по стандартиза-

ции расчётов. Никто не ответил. Он решил, что записка потерялась.

«Вы её читали?»

«Я её изучил. — Вошедший сел на стул для посетителей без приглашения, положил ногу на ногу. — Ваш метод расчёта критических оборотов через разложение собственных частот в ряд Фурье был применён три года спустя при проектировании турбин для атомных подводных лодок. Естественно, без ссылки на вас. Вы были слишком молоды и недостаточно... проверены.»

Козлов отложил сводку. Разговор принимал неожиданный оборот.

«Кто вы?» — спросил он.

«Я — человек, который занимается расчётами. Только мои расчёты касаются не турбин, а других систем. Социальных. Политических. Исторических. — Он помолчал. — Вы когда-нибудь задумывались, почему одни государства живут веками, а другие разваливаются за десятилетия?»

«Это зависит от...»

«От класса, от производительных сил, от исторической формации, — перебил его гость. — Я знаю стандартный ответ. Я его сдавал на экзаменах, как и вы. Но я спрашиваю не о марксистской теории. Я спрашиваю о физике. О математике. О том, что можно измерить.»

Козлов молчал. Гость продолжал:

«Государство — это система с обратной связью. Оно получает сигналы извне — от других государств, от экономики, от природы — и изнутри — от населения, от элит, от армии. Сигналы обрабатываются, принимаются решения, решения исполняются. Проблема в том, что обработка сигналов всегда происходит с задержкой. Время задержки определяет устойчивость системы. Если задержка слишком велика, система входит в резонанс — точно так же, как ваша турбина на критических оборотах. И тогда — разрушение.»

Козлов почувствовал, как по спине пробежал холодок. Человек говорил на его языке. На языке инженера.

«Кто вы?» — повторил он.

Гость чуть улыбнулся — впервые за весь разговор:

«Алексей Кириллович Северский. Геостратег. Должности

такой нет, я её придумал. Но она лучше всего описывает то, чем я занимаюсь. Я просчитываю варианты будущего. Дерево вариантов — так я это называю. Каждая ветвь — возможный сценарий. Каждая развилка — точка бифуркации, где малые воздействия могут изменить траекторию системы. Я занимаюсь этим с тридцать восьмого года. Мои записки читают три человека в стране. Теперь, возможно, будете читать и вы.»

«Почему я?»

«Потому что вы — инженер. Вы понимаете, что такое резонанс. Вы понимаете, что такое допуск. Вы понимаете, что система может быть устойчивой или неустойчивой — и что устойчивость не имеет никакого отношения к идеологии. Это физика. — Северский снял очки, протёр их носовым платком, снова надел. — Политики этого не понимают. Они думают, что мир управляется речами, интригами и голосованиями. А мир управляется резонансными частотами и точками бифуркации. Вы это понимаете. Поэтому я здесь.»

Козлов долго молчал. За окнами сгущались сумерки — московские, июньские, длинные, светлые почти до полуночи. Где-то вдалеке гудел автомобиль. В кабинете пахло бумагой, одеколоном и страхом.

«Что вы хотите от меня?» — спросил он наконец.

«Пока — ничего. Просто знайте, что я существую. Когда-нибудь наступит момент, когда вам понадобятся не только цифры Госплана, но и кое-что другое. Перспектива. Горизонт планирования. Тогда вы обо мне вспомните. — Северский встал. — И ещё: не доверяйте статистике. Особенно той, что показывает сто три процента. Когда система начинает врать о своём состоянии, её состояние — критическое. Это тоже физика.»

Он вышел так же бесшумно, как вошёл. Козлов остался сидеть над сводкой, но цифры больше не имели значения. Что-то сдвинулось в его картине мира. Появилось новое измерение. Измерение, в котором политика переставала быть политикой и становилась физикой — странной, не до конца понятной, но подчиняющейся законам, которые можно изучать.

Законам, которые можно использовать.

7. Видение: цех и зал

Июнь 1953 года. Москва, Старая площадь. Ночь.

Ему приснился сон — первый из тех странных, почти про-

роческих снов, которые будут посещать его в ключевые моменты жизни.

Снился цех «Электросилы» — огромный, гулкий, освещённый ртутными лампами. Ротор турбины висел на цепях мостового крана. Рабочие внизу — маленькие фигурки в синих спецовках — готовили станину к установке. Всё было как обычно, кроме одного: ротор был не металлический, а стеклянный. Прозрачный. И внутри него, в стеклянной толще, вращались крошечные фигурки людей — члены Политбюро, секретари обкомов, министры, директора заводов, генералы. Они крутились внутри стеклянного ротора, как белки в колесе, и на их лицах было выражение бесконечной, нечеловеческой усталости.

Козлов смотрел на них с галереи — и вдруг понял: это не ротор. Это государство. Прозрачное, хрупкое, наполненное людьми, которые крутятся внутри него, не понимая, что они — часть механизма, а не его хозяева.

А потом стекло треснуло. Тонкая трещина пошла от центра к краю, разветвляясь, как молния. Ротор начал вибрировать — частота нарастала. Козлов хотел крикнуть, чтобы люди внутри остановились, но голос не слушался. Трещина расширялась. Стеклянные осколки падали вниз, на рабочих, на станки, на пол. Ротор разрушался на глазах.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.